

# Эпиграммы Пушкина на Карамзина

**В**опрос об эпиграммах Пушкина на Карамзина — подлинности их авторства, достоверности текста, времени и обстоятельствах возникновения — является предметом дискуссии на протяжении почти полутора веков пушкинской историографии. В последние десятилетия он возникает как бы заново — в связи с оживлением интереса к Карамзину и узловым эпизодам его взаимоотношений с Пушкиным. Нужды готовящегося академического издания Пушкина также заставляют привести в систему имеющиеся сведения и суждения исследователей.

Настоящие заметки, написанные семь или восемь лет назад, ставили перед собой прежде всего эту цель; задачей их было также ввести в оборот некоторые неизданные материалы, касающиеся пушкинских эпиграмм. Частью они послужили основой для комментария к эпиграмме «Послушайте, я сказку вам начну...» в томе лицейской лирики Пушкина, выпущенном Пушкинским Домом под редакцией автора этих строк<sup>1</sup>; отсюда некоторые неизбежные повторения с уже изданным комментарием. С другой стороны, за последние годы вышли некоторые важные работы, прямо или косвенно касающиеся второй из рассматриваемых нами эпиграмм — «В его Истории изящность, простота...»; они потребовали возвращения к некогда высказанным нами суждениям, частью для развернутой их аргументации, частью для пересмотра.

Напомним основные факты и этапы споров. Как известно, Пушкину в разное время приписывались четыре эпиграммы на Карамзина, сохранившиеся в рукописных сборниках<sup>2</sup>. Первая, наиболее ранняя, впервые была опубликована в 1857 г. П. В. Анненковым в следующей редакции:

Послушайте, я сказку вам начну  
 Про Игоря и про его жену,  
 Про Новгород, про время золотое  
 И наконец про Грозного царя,  
 Эх, бабушка, затеяла пустое:  
 Окончи лучше нам «Илью Богатыря».<sup>3</sup>

При подготовке академического издания Пушкина в качестве основного источника был принят текст, записанный в тетради В. Ф. Щербакова<sup>4</sup>, датируемый 1820-ми гг. (наиболее ранний из существующих списков). Он существенно отличается от текста Анненкова в ст. 3: «Про Новгород, про царство Золотое» и ст. 4: «А может быть, про Грозного царя». Прочие разночтения — чисто стилистические (ст. 5 — «И, бабушка, затеяла пустое», ст. 6 — «До кончи нам Илью-богатыря»).

Печатая эту редакцию, М. А. Цявловский нашел очень важный аргумент, обосновывающий его выбор: объявление в «Сыне отечества» от 24 марта 1816 г. об окончании Карамзиным восьми томов «Истории» «до кончины царицы Анастасии Романовны, супруги царя Иоанна Васильевича Грозного, т. е. до 1560 года». Ныне, говорилось далее в объявлении, историк занят 9-м томом, который надеется окончить до издания в свет первых восьми томов. Предполагается, что все 9 томов выйдут одновременно, приблизительно через полтора года<sup>5</sup>. Именно эта информация отразилась в ст. 4 эпиграммы, из которого следует, что описание «Грозного царя» замышляется, но не окончено. Эпиграмма писалась по слухам об «Истории» и окрашена теми же скептическими интонациями, которые сказались, например, в известном послании С. Н. Марина о «добреньких славянах и милой России», — именно такого освещения истории ждали от главы сентиментальной школы<sup>6</sup>. Наблюдение Цявловского проясняет и хронологию эпиграммы: она написана около (не ранее) 24 марта 1816 г.

В ранних списках эта эпиграмма была анонимна; с именем Пушкина она появляется во второй половины XIX в., — как предполагает новейший ее исследователь, под влиянием издания Анненкова; несомненно, «по Анненкову», Е. П. Ростопчина в своем рукописном сборнике зачеркнула под этим текстом подпись «Грибоедов» и исправила ее на «Пушкин»<sup>7</sup>. В 1872 г. в «Русской старине» эпиграмма была напечатана под именем Грибоедова, но в следующем томе было восстановлено авторство Пушкина<sup>8</sup>.

Известно, что против атрибутирования этой эпиграммы Грибоедову возражал Вяземский, приводя доводы стилистического и психологического порядка. «В ней выдается почерк Пушкина, а не Гри-

боедова <...>. При всем своем уважении и нежной преданности к Карамзину, Пушкин легко мог написать эту шалость; она, вероятно, заставила бы усмехнуться самого Карамзина. В лета бурной молодости Пушкин не раз бывал увлекаем то в одну, то в другую сторону разнородными потоками обстоятельств, соблазнов и влияний литературных и других»<sup>9</sup>.

В 1956 г. Б. В. Томашевский коснулся вопроса об авторстве этой эпиграммы и показал ошибочность отождествления ее с той эпиграммой на Карамзина, в авторстве которой сознавался сам Пушкин в переписке с Вяземским в 1826 г. и о которой поэт упоминал в своих «Записках». Тем не менее он не считал необходимым вывести ее из собрания сочинений Пушкина. «Пушкин в письме к Вяземскому мог и не вспомнить о своей лицейской шутке и, во всяком случае, считал, что такая эпиграмма не может быть основанием для обвинения в непочтительном отношении к Карамзину». Последнее утверждение исследователя находит подтверждение и в цитированном отзыве Вяземского. «Поэтому было бы осторожнее, — заключает Б. В. Томашевский, — оставить ее в составе сочинений Пушкина, хотя бы в разделе ему приписываемых»<sup>10</sup>. В десяти томник под своей редакцией он ввел эту эпиграмму, причем даже не в «Dubia», а в основной корпус<sup>11</sup>.

Совершенным недоразумением выглядят поэтому утверждения новейших исследователей эпиграммы, что Томашевский якобы поставил под сомнение авторство Пушкина и «аргументированно отвел известные свидетельства современников на этот счет»<sup>12</sup>. Дело обстоит прямо противоположным образом: именно свидетельство современника — М. П. Погодина, включившего эту эпиграмму как пушкинскую в свою книгу о Карамзине, — послужило Б. В. Томашевскому серьезным доводом для сохранения ее в составе собрания сочинений. При скудости данных об авторстве (никто из знавших поэта не мог твердо его удостоверить и опирался на косвенные данные) свидетельство Анненкова также нельзя сбрасывать со счетов: хорошо известны связи Анненкова с ближайшим окружением Пушкина, как лицейским, так и постлицейским (О. С. Пушкина-Павлищева, Л. С. Пушкин, М. Л. Яковлев, И. И. Пущин, П. А. Катенин, Я. И. Сабуров и др.). В этой ситуации самая постановка вопроса о возможной принадлежности эпиграммы Грибоедову лишается сколько-нибудь серьезных фактических оснований: их не могут заменить наблюдения над общностью (весьма проблематичной) некоторых синтаксических конструкций, лексических форм и ссылки на «Студента» Катенина—Грибоедова, где пародируется «Илья-Муромец» Карамзина<sup>13</sup>. Между тем и хронология эпиграммы, и некоторые

особенности в тексте могут быть косвенными аргументами, поддерживающими «пушкинскую» версию.

\* \* \*

Текст эпиграммы — проблема, вероятно, еще более сложная, чем вопрос об авторстве.

Нам известно уже, что М. А. Цявловский печатал ее по тетради Щербакова. Погодин пользовался иным списком, отличавшимся и от щербаковского, и от анненковского. Первый стих в его тексте — «Послушайте меня, я сказку вам скажу» — явно испорчен приблизительной (переданной, вероятно, по памяти) рифмой; мелкие разночтения с Анненковым — в ст. 3 («Про Новгород и время золотое»), 5 и 6 («И, бабушка, затеяла пустое: Докончи нам Илью-богатыря»)<sup>14</sup>.

Б. В. Томашевский по условиям издания не дал обоснования своего текста и не указал на источник. Текст десятитомника в основном совпадает с тем, который напечатал Анненков, за исключением двух последних стихов, воспроизводящих публикацию Погодина.

Текст большого академического издания очевидно предпочтительнее — и не только потому, что он не реконструирован гипотетически. Вообще дефинитивный текст эпиграмм (в особенности экспромтного характера) всегда условен; он может меняться самим автором при произнесении или записях; однако чаще он искажается в процессе бытования, утрачивая детали, непонятные распространителям. М. А. Цявловский обращал внимание на стих «А может быть, про Грозного царя», тесно привязанный к журнальному объявлению; вариант «И наконец, про Грозного царя» производит впечатление одного из таких искажений. «Время золотое» вместо «Царства Золотого» (то есть Золотой Орды) — другой случай облегченного чтения, поддержанного к тому же распространенной в 1820-е гг. идеализацией Новгородской республики. Уже поэтому неосторожно опираться на эти строки, как это иногда делают, анализируя эпиграмму. Другое дело — строка «Про Игоря и про его жену» и «Докончи («окончи», «докончи лучше») нам Илью-Богатыря», — разночтения списков здесь не меняют основного содержания. Выбор «Игоря и его жены» в качестве репрезентативной темы будущей «Истории» легко объясняется в пределах «пушкинской» версии. 10 декабря 1815 г. Пушкин записывает в дневнике: «Третьего дни хотел я начать Ироическую поэму: Игорь и Ольга, а написал эпиграмму на Шах<овского>, Ших<матова> и Шиш<кова> <...>» (XII, 298). Запись отделена от эпиграммы несколькими месяцами.

Интерес Пушкина к «Илье-Муромцу» Карамзина в лицейские годы известен: в «Бове» (1814) есть прямые реминисценции из неоконченной поэмы Карамзина<sup>15</sup>. Если верно наблюдение Ю. П. Фесенко, что в начале эпиграммы присутствует ассоциация с некоторыми формулами «Острова Борнгольма» (а оно не лишено вероятия)<sup>16</sup>, то нам придется вспомнить, что эта повесть упомянута Пушкиным-лицеистом в ироническом контексте лицейских куплетов в том же дневнике 1815 г. как предмет чтений И. К. Кайданова (XII, 299); что же касается бабушки, рассказывающей детям сказки о витязях, то она появляется в хрестоматийно известном фрагменте «Сна», написанном одновременно с эпиграммой или несколько позднее (датируется апрелем—декабром 1816 г.). Таким образом, почти все образно-тематические элементы эпиграммы мы находим в пушкинском творчестве этого времени.

Остается, однако, еще один вопрос — последний по месту, но едва ли не первый по важности: о причинах и психологических предпосылках эпиграмматического выпада Пушкина против Карамзина в марте 1816 г.

К этому времени Пушкин уже определился как потенциальный «арзамасец», выбравший своими поэтическими учителями Жуковского и Батюшкова. Он следит за литературной полемикой с «Беседой» и сам отдает ей дань в эпиграммах, посланиях и «Тени Фон-Визина»; он восхищается полемическими сочинениями Вяземского и «дядюшки» — В. Л. Пушкина. В этих условиях эпиграмма на кумира «арзамасцев» — Карамзина выглядит неожиданной и труднообъяснимой.

Здесь следует, однако, принять во внимание, что юноша Пушкин принадлежал уже к новой, младшей генерации, заново устанавливавшей свою шкалу литературных ценностей. Она была близка к позиции его учителей, но не тождественна ей. Его отношение к Карамзину как личности и литературному явлению не могло быть таким, как у В. Л. Пушкина, Жуковского или Вяземского, ибо оно формировалось вне культурного и бытового общения. Рассказ С. Л. Пушкина о том, как его маленький сын не сводил глаз с Карамзина, ловя каждое его слово, — явная ретроспективная стилизация. Вяземский сомневался в том, что Карамзин вообще бывал в доме Пушкиных, — хотя, конечно, знал Сергея Львовича. Во всяком случае, он не принадлежал к близким знакомым семьи; характерно, что О. С. Павлицева-Пушкина, перечисляя обычных посетителей и друзей, подробно говорит об И. И. Дмитриеве, но не упоминает о Карамзине<sup>17</sup>.

В своих записках о Карамзине Пушкин пишет о шестилетнем знакомстве. Как производился подсчет, сказать трудно; может быть, мальчик был представлен Карамзину перед отправкой в Лицей.

Карамзин приехал в Петербург в начале февраля 1816 г. вместе с Вяземским и провел здесь почти два месяца. Это был один из очень трудных периодов жизни историографа, когда он пытался добиться аудиенции у императора и разрешения на печатание истории. Внутренний драматизм его положения, которое он сам называл своей «пятидесятницей», — неуверенность в успехе предприятия, постоянные отсрочки приема, постоянная и иногда унижительная борьба за сохранение достоинства и независимости литератора — все это оставалось достоянием его писем к жене. Внешне его пребывание в столице выглядело как череда приемов и обедов, чтений «Истории» в императорской семье, увенчавшееся наконец беседой с Александром I и исключительными знаками отличия.

19 марта А. М. Горчаков сообщал А. Н. Пещурову: «Вчера он (Карамзин. — В. В.) был сделан статским советником и получил Анны первой степени через плечо, что, кажется, еще никакому статскому советнику не давали. Кроме того, он получил на напечатание своей Истории 60 000 рублей. Впрочем, это может несколько заставить замолчать зоилов его, но в глазах обожателей его таланта и в собственных глазах его он тем не менее будет Карамзин, просто Карамзин, которому ни лента, ни чин ничего прибавить не могут»<sup>18</sup>. 20 марта о том же пишет А. Д. Илличевский П. Н. Фуссу: «Слава великодушному монарху! горе зоилам гения!» Илличевский рассказывал, что Карамзина с нетерпением ждут в Лицее, что он знает Малиновского и Пушкина и интересуется их успехами<sup>19</sup>.

24 марта появляется объявление об «Истории» в «Сыне отечества», о котором выше шла речь.

25 марта Карамзин вместе с Жуковским, Вяземским, А. Тургеневым, С. Л. и В. Л. Пушкиными заезжает в Лицей на обратном пути в Москву, — как вспоминал Вяземский, едва ли не по настоянию Василия Львовича. По словам Вяземского, весь визит длился не более получаса. Как он проходил, мы знаем по поздней записке И. В. Малиновского. «...Карамзин, вызвав Пушкина, сказал: „Пари, как орел, но не останавливайся в полете“. И он с раздутыми ноздрями — выражение его лица при сильном волнении — сел на место при общем приличном приветствовании товарищей»<sup>20</sup>.

И Малиновский, и многие из лицейстов, и В. Л. Пушкин, без сомнения, считали, что ритуал «ободрения» прошел успешно. В. Л. Пушкин писал племяннику 14 апреля: «Николай Михайлович в начале мая отправляется в Сарское Село. Люби его, слушайся и почитай. Советы такого человека послужат к твоему добру и может быть к пользе нашей словесности» (XIII, 4).

Между тем у нас есть основания подозревать, что весь этот эпизод был воспринят юным Пушкиным как произвольное и незаслуженное унижение.

Очень характерны те сдержанные интонации, с которыми рассказывает о нем Вяземский, в поздние годы не упускавший случая подчеркнуть близость Карамзина и Пушкина. Об «ободрении» он не говорит ни слова. Он не может припомнить «особенных тогда отношений Карамзина к Пушкину» и дает понять, что визит был официальным. «Вероятно, управляющие Лицеумом занимались Карамзиным». «А меня окружила молодежь, — продолжает он, — я и сам был тогда молод». Письмо Пушкина к нему, написанное сразу же после встречи, 27 марта, ясно показывает складывающийся тип отношений: почтительность к старшему поэту здесь все время стремится перейти в дружескую фамильярность «арзамасского» типа. Среди лицейстов Вяземский встретил прежнего своего товарища Сергея Ломоносова — и рассказ о нем снова привел его к Пушкину. «Пушкин был не особенно близок к Ломоносову, — может быть, напротив, Ломоносов и тут был уже консерватором, а Пушкин в оппозиции против Энгельгардта и много еще кое-кого и кое-чего»<sup>21</sup>.

Оппозиция против Энгельгардта была неосознанным протестом против педагогической власти, облеченной в формы дружеской доверительности. В этом сочетании Пушкин, по-видимому, ощущал фальшь и едва ли не единственный среди лицейстов решительно противился неофициальному сближению. Оппозиция против «много еще кое-кого и кое-чего» относилась к властям в более широком и общем смысле; может быть, Вяземский намекал и на Александра I.

Есть все основания думать, что 25 марта Карамзин в глазах Пушкина выступил как представитель этих начал, для него неприемлемых. Он явился как «покровитель» и говорил от имени «старших».

Здесь с неизбежностью напрашивалась ассоциация с лицейским экзаменом годичной давности, когда Пушкин читал перед Державиным «Воспоминания в Царском Селе»: «Я не в силах описать состояние души моей: когда дошел я до стиха, где упоминаю имя Державина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилося с упоительным восторгом... Не помню, как я кончил свое чтение, не помню, куда убежал. Державин был в восхищении; он меня требовал, хотел меня обнять... Меня искали, но не нашли» (XII, 158).

В этом эпизоде нет ни покровительства, ни «старших»: в нем великий поэт говорит со своим юным наследником на равных, забывая разницу возрастов и общественных положений. Происходит символический акт «передачи лиры».

На фоне этой «поэтической» сцены особенно ясно вырисовывается «прозаическая» — официально-ритуализованное «напутствие» с оттенком нравоучения, произнесенное публично, в присутствии родных. Иерархия «старший—младший» не преодолена, а подчеркнута, более того — возведена в норму.

Не забудем при этом, что роль «старшего» берет на себя писатель, слава которого принадлежит уже прошедшей эпохе, чье творчество уже переоценивается новыми поколениями. «Зоил гения» — лейтмотив, звучащий и у Илличевского, и у Горчакова, — не всегда «зоил», а часто скептик, сомневающийся в способности автора «Бедной Лизы» написать русскую историю. С. Н. Марин пародирует еще не вышедший труд именно с этой точки зрения. Еще в 1818 г. Пушкин, по-видимому, сам примет участие в переложении глав Тита Ливия «слогом Карамзина».

Семантический каламбур «докончи нам Илью-богатыря» имеет ту же пародийную природу: автор неоконченной маленькой поэмы со сказочно-историческим содержанием не может обещать с уверенностью, что доведет до конца описание шести веков подлинной русской истории. При этом единственной гарантией достоинств этого еще никому не известного труда является официальное увенчание его автора отнюдь не ординарными наградами и репутация «гения» в кругу неразмысляющих адептов.

Так или почти так должна была представляться ситуация юному оппозиционеру «много кое-кому и кое-чему», и бунт против мягкого педагогического диктата с ободрениями и напутствиями почти неизбежно должен был породить эпиграмму. Она была не выступлением противника, а проявлением скептического вольнодумства в отношении литературного авторитета, «мэтра». Уже через несколько месяцев, с началом личного общения Пушкина с историографом, она вряд ли была бы возможна. В ближайшие же годы определится и сложное отношение Пушкина к самому труду Карамзина, включавшее и восхищение литературным и научным «подвигом», и полемику принципиального характера.

\* \* \*

Следующая по времени эпиграмма Пушкина на Карамзина появляется уже после выхода «Истории государства Российского»; как и рассмотренная нами, она становится достоянием печати за границей через несколько лет после выхода анненковского издания.

Впервые об эпиграммах Пушкина на «отца-Карамзина», как известно, упомянул А. И. Тургенев в письме к П. А. Вяземскому из



Петербурга 28 апреля 1825 г. Это свидетельство многократно цитировалось, но нам нужно напомнить его, так как в нем существенны акценты. «Похвалив талант Пушкина, — пишет Тургенев, — я не меньше, особливо с некоторого времени, чувствую омерзение к лицу его. В нем нет никакого благородства. <...> Пушкин поднял руку на отца по крови и на отца-Карамзина», по чьим сочинениям он учился читать, «плакал, и не раз, за столом его», на Карамзина, который за него «рыцарствовал». Эта гневная инвектива, которую мы еще сокращаем при цитации, на протяжении недели сменяется примирительными строчками: «Гнев мой на него смягчился, ибо я узнал, что стихи, за кои я на него сердился, написаны за пять или шесть лет пред сим, если не прежде»<sup>22</sup>. Отметим пока необычную и достаточно резкую смену эмоций — от негодования до полуизвинения при известии, что стихи относятся к 1818—1820 гг. Сама по себе хронология здесь мало что может объяснить: выступление против Карамзина в годы тесного с ним общения (именно тогда, когда Пушкин «плакал у него за столом»!), казалось, должно было бы лишь увеличить возмущение Тургенева. По-видимому, смягчающим обстоятельством для Тургенева оказалась не только давность, но и условия появления эпиграмматических стихов.

На сведения Тургенева опирался Вяземский, когда писал Пушкину (12 июня 1826 г., уже после смерти Карамзина): «Ты <...> шалун и грешил иногда эпиграммами против Карамзина, чтобы сорвать улыбку с некоторых сорванцов и подлецов» (XIII, 284). В ответном, полном горечи, письме Пушкин признал себя автором лишь одной эпиграммы, написанной тогда, когда Карамзин «отстрилил» его от себя, оскорбив его «честолюбие и сердечную к нему приверженность». «Моя эпиграмма остра и ничуть не обидна, — заключал он, — а другие, сколько знаю, глупы и бешены: ужели ты мне их приписываешь? Во-вторых. Кого ты называешь сорванцами и подлецами?» (XIII, 285—286) Позднее, в записках о Карамзине, он заметит: «Мне приписали одну из лучших русских эпиграмм; это не лучшая черта моей жизни» (XII, 306). Попытка объяснения этих не вполне совпадающих друг с другом суждений была в свое время предпринята автором этих строк<sup>23</sup>.

В статье 1956 г. Б. В. Томашевский показал, что пушкинским автопризнаниям (и полупризнаниям) соответствует только одна из эпиграмм на Карамзина из всех, ходивших под его именем, — эпиграмма «В его „Истории“ изящность, простота...», которая и должна включаться в собрание сочинений как несомненно пушкинская. Как и в случае с первой эпиграммой, одним из важных аргументов в пользу такого решения был факт публикации ее под именем

Пушкина в книге Погодина. Статья Томашевского и явилась источником обоснования для введения этого текста в академическое и популярные издания Пушкина под датой «1818—1819 гг.» (XVII, 16). Большое академическое издание помещало его в раздел «Dubia»; в десятитомнике под своей редакцией Томашевский ввел его в основной корпус. Это последнее решение вызвало печатные возражения уже в наше время; к сожалению, противники его были мало осведомлены в историографии вопроса, не обращались к источникововедческому анализу материала и опирались лишь на общие и чрезвычайно приблизительные представления о характере взаимоотношений Пушкина и Карамзина<sup>24</sup>. Между тем в истории этой эпиграммы есть несколько неясных мест, требующих специального разбора.

\* \* \*

Уже Б. В. Томашевский привел в своем исследовании три текста, ходивших в рукописных сборниках под именем Пушкина. Один из них вполне может быть квалифицирован как «глупый и бешеный»:

Решившись хамом стать пред самовластья урной,  
Он нам решился доказать,  
Что можно думать очень дурно  
И очень хорошо писать.

В свое время нами было высказано предположение, что эта эпиграмма отражает политическую фразеологию тургеневского кружка (где «хамками» назывались крепостники и ретрограды). Развивая это наблюдение, Л. Н. Лузянина нашла в письме Н. И. Тургенева брату от 14 ноября 1817 г. формулу, парафразой которой являются две последние строки четверостишия; рассказывая об «Арзамасе», Тургенев писал: «Другие члены наши лучше нас пишут, но не лучше думают, т. е. думают более всего о литературе»<sup>25</sup>. Это позволило предположить автора эпиграммы в самом Н. И. Тургеневе, а заодно и высказать соображения о времени ее создания: по мнению исследовательницы, она была, как и пушкинская эпиграмма о «бабушке», написана до чтения Тургеневым самого труда Карамзина. После 1818 г. суждения Тургенева об «Истории» стали более аналитичными и снизился уровень его критицизма.

Наконец, Л. Н. Лузянина указала на печатную редакцию этой эпиграммы, прошедшую мимо внимания пушкинистов: она была опубликована в журнале «Благонамеренный» в 1823 г. под заглавием «К портрету N. N.» и с измененными первыми строками («Благих законов враг, добра противник бурный, Умел он ясно дока-

зять...» и т. д.); подпись под ней — «В.» одно время расшифровывалась — без серьезных оснований — как «В. Туманский»<sup>26</sup>. Появление этой эпиграммы в печати, как показала Л. Н. Лузянина, отнюдь не было выпадом против Карамзина: нет никаких сомнений, что ни издатель «Благонамеренного» А. Е. Измайлов, ни перепечатавший ее в своей «русской анфологии» М. А. Яковлев не знали, что она была направлена против «Истории государства Российского»; и тот и другой одновременно с эпиграммой печатали комплиментарное обращение к Карамзину<sup>27</sup>. Все эти разъяснения и наблюдения, не решая окончательно вопроса об авторстве, поддерживали, однако, убеждение, что эпиграмма Пушкину не принадлежит, хотя она и ходила под его именем в рукописных сборниках. Так, в 1861 г. Н. В. Гербель в своем заграничном издании запрещенных пушкинских стихов указал на нее как на текст, о котором «положительно известно», что он «написан не Пушкиным»; имени подлинного автора Гербель, впрочем, не знал<sup>28</sup>.

\* \* \*

Исключив из рассмотрения эпиграмму «Решившись хамом стать...», мы получим тот текст, который был уже предметом анализа Б. В. Томашевского. Он был обнародован в 1861 г. одновременно в двух заграничных изданиях — в «Стихотворениях А. С. Пушкина...» Гербеля и в «Русской потаенной литературе» Н. П. Огарева.

Гербель напечатал эпиграмму в двух редакциях:

АВТОРУ «ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО»

1

В его «Истории» изящность, простота  
Доказывают нам, без всякого пристрастья,  
Необходимость самовластья  
И прелести кнута.

2

На плаху истину влача,  
Он доказал нам без пристрастья  
Необходимость палача  
И прелесть самовластья.<sup>29</sup>

Обе редакции (№ 1 как «вариант» № 2) были приведены и в «Русской потаенной литературе». Текст № 1 был идентичен гербелевскому (с незначительными пунктуационными отличиями). Второй текст различался в ст. 1 («На плаху древность волоча...») и в ст. 4

(«И справедливость самовластья»)<sup>30</sup>. Текст № 2 был шире распространен. Академическое издание учитывает 12 его копий (в том числе и в упомянутой уже тетради Щербакова), но зарегистрированы далеко не все. Укажем в дополнение к этому списку, по крайней мере, еще одну копию, сохранившуюся в бумагах А. И. Тургенева; текст (без подписи) был, по-видимому, записан по памяти или со слуха и испорчен:

Карамзин на плаху старину влача,  
Доказал нам без пристрастья  
Необходимость палача  
И нежность самовластья.<sup>31</sup>

Б. В. Томашевский считал, что этот текст Пушкину не принадлежит, и мы можем говорить только об эпиграмме «В его „Истории“ ...». Справочный том Академического издания приводит оба текста; второй — как более сомнительный.

В настоящее время трудно решить этот вопрос удовлетворительно; не исключено, однако, что первые публикаторы были правы, считая оба четверостишия «вариантами» (т. е. редакциями) единого текста, сохраняющими опорные афористические формулы («необходимость палача», «прелесть самовластья»). Несомненно, однако, что, условно говоря, «ранняя редакция» подверглась в процессе распространения дополнениям и искажениям.

\* \* \*

П. А. Вяземский, прочитав эти стихи в гербелевском сборнике, пометил на полях: «Я убежден, что стихи не Пушкина»<sup>32</sup>.

Б. В. Томашевский с полным основанием подверг сомнению это свидетельство, которое, в сущности, было не свидетельством, а лишь догадкой, что очевидно уже из самой формулировки. Не вполне ясно также, относились ли слова Вяземского к одному из текстов или к обоим вместе. Томашевский показал, что первый текст — «В его „Истории“ ...» — единственный подходящий под автопризнания Пушкина. Здесь-то он и привлек вполне определенное свидетельство М. П. Погодина, безоговорочно поместившего в своей книге эпиграммы: «Послушайте меня, я сказку вам скажу...» (так у Погодина) и «В его „Истории“ ...» как несомненно пушкинские. Погодин был довольно близко знаком с Пушкиным, разговаривал с ним о Карамзине и пользовался консультацией родных и знакомых Карамзина; так, по рассказам гр. М. Н. Толстой, внучки Е. Н. Мещерской, он ничего не печатал, «не показав сначала Екатерине Николаевне»<sup>33</sup>.

К этим уже известным аргументам мы сейчас можем добавить неучтенные пометы Вяземского на рукописи погодинской книги. Эта рукопись, в последние годы все чаще привлекающая к себе внимание исследователей, требует тщательного, систематического изучения в первую очередь как источник для биографии Карамзина. Она хранится в архиве М. П. Погодина в Российской государственной библиотеке и представляет собою писарскую копию со вставками рукой Погодина и многочисленными маргиналиями ее первых читателей и рецензентов — М. А. Дмитриева, П. А. Вяземского, К. С. Сербиновича и др. Мы можем утверждать определенно, что текст ее подвергся тщательной апробации и редактуре и что Погодин в абсолютном большинстве случаев учел поправки и рекомендации своих рецензентов.

Фрагмент о Пушкине в книге Погодина занимает с. 329—331. Пушкин появляется здесь в числе «арзамасцев». В белой рукописи текст выглядел следующим образом: «Наконец, принят был в дом Карамзиных и молодой *Пушкин*, показавший уже в Лицее признаки своих прекрасных дарований. Принадлежа к близко знакомому семейству, он нашел в Карамзине первого наставника и покровителя, всякий почти день был у него, но часто выводил его из терпения».

Против этого места помета Вяземского: «Пушкин еще во время пребывания своего в Лицее был ежедневно по вечерам у Карамзина, когда он проживал в Ц<арском> Селе, следовательно нельзя сказать: *наконец*».

Ниже, рукой Сербиновича: «Все вечера летом уходил он из Лицея к Карамзиным, любил слушать Н. М—ча и гулять с семейством его, разделять игры с детьми. Этот дом был для него как бы родственным. Здесь началась или утвердилась дружба его с Жуковским, Тургеневым, Вяземским и друг<ими>»<sup>34</sup>.

По этим замечаниям Погодин начинает перерабатывать первоначальный текст (зачеркнутый наискось чернилами; слово «Наконец» обведено также чернилами, может быть, рукой Вяземского). Он не просто учитывает замечания, но стремится ввести и дополнительные сведения. Перед началом его рукою вписано: «с лоскутка», после окончания — «после лоскутка». Печатный текст книги позволяет определить, что именно было в несохранившемся «лоскутке».

«Пушкин с молодых лет был принят в доме Карамзина», — исправляет Погодин первую фразу. Вторая («Принадлежа... выводил его из терпения») подвергается лишь стилистической редактуре; в следующей находят себе место парафразы и цитаты из маргиналий Вяземского и Сербиновича. «*В Царском Селе всякий день после классов прибегал он к Карамзиным из Лицея, проводил у них вечера,*

рассказывал и шутил, заливаясь громким хохотом, но *любил слушать Николая Михайловича* и унимался, лишь только взглянет он строго или скажет слово Екатерина Андреевна; он любил гулять с его семейством и играть с детьми <...>. *В доме Карамзиных Пушкин познакомился и сблизился с Жуковским, Тургеневым, Вяземским*<sup>35</sup>.

В этот рассказ интерполированы и иные мемуарные свидетельства — о шалостях Пушкина с детьми Карамзина, о письме, полученном от него Екатериной Андреевной, и другие, для которых мы можем указать источники лишь с известной степенью вероятности (Бартенев, Н. Елагин, Д. Н. Блудов, вероятно Е. Н. Мещерская, которой в 1816 г. было уже десять лет, и др.). Замечания же рецензентов рукописи он стремится учесть с максимальной полнотой и опереться на их авторитет, даже в тех случаях, когда дело идет не о факте, а об интерпретации. Так, к письму Карамзина от 19 апреля 1820 г. о «тучах» над головой Пушкина и о «либералистах», не отличающихся ни геройством, ни великодушием, сам же он делает примечание: «Едва ли эти слова относятся к Пушкину, которому, впрочем, тогда едва ли минуло 20 лет. Кажется, они имеют общее значение». Вяземский записывает внизу: «разумеется», — и в печатном тексте Погодин прямо переадресовывает их Вяземскому: «Едва ли эти слова относятся к Пушкину (замечает князь Вяземский), которому, впрочем, тогда едва ли минуло 20 лет. Кажется, они имеют общее значение, — я с ним совершенно согласен»<sup>36</sup>.

Очерк о Пушкине Погодин заключил словами: «Пушкин сохранил во всю жизнь свою глубочайшее почтение к Карамзину и благоговел пред ним», — и подтвердил этот вывод ссылкой на посвящение «Бориса Годунова» памяти Карамзина. Здесь Вяземский и сделал примечание большой важности, продиктованное ему естественной ассоциацией: «Эпиграммы его на Карамзина (например, про Илью Муромца), напечатанные теперь в заграничных изданиях, написаны им под влиянием именно тех *либералистов*, о которых упоминает Карамзин. И Пушкину, вероятно, приходилось после повторять с раскаянием и добросовестностью: не помяну грех юности моей, — а их-то эти господа с особенным наслаждением именно и поминают»<sup>37</sup>.

Итак, Вяземский в 1860-е гг. не сомневался в принадлежности Пушкину ни эпиграммы «Послушайте, я сказку вам начну...» (о чем писал потом в заметке, вошедшей в собрание его сочинений), ни по меньшей мере еще одной эпиграммы, напечатанной «в заграничных изданиях». Судя по тому, что Погодин ввел в текст своей книги эпиграмму «В его „Истории“...», поздняя заметка Вяземского «я убежден, что стихи не Пушкина» относилась не к ней, а к вариан-

ту ее — «На плаху истину влача...». Свидетельство Вяземского не решает вопроса окончательно, — тем более вопроса о тексте (как мы указывали, Погодин приводил раннюю эпиграмму в несколько отличной от других редакции), — но оно перестает быть доводом в пользу атетезы и превращается в наиболее сильный в настоящее время аргумент в пользу атрибуции Пушкину эпиграммы на «Историю государства Российского».

\* \* \*

Нам следует теперь попытаться реконструировать обстановку, в которой возникла эпиграмма, — но здесь требуется еще одно историографическое отступление, оно будет касаться одного из основных источников по истории этой эпиграммы — мемуаров Пушкина о Карамзине, напечатанных им в «Северных цветах на 1828 год» как извлечение «из неизданных записок». Автограф этого отрывка хранится ныне в Пушкинском Доме (ф. 244, оп. 1, № 825); он представляет собою два листа белой рукописи с несколькими поправками на бумаге 1823 г. Начало фрагмента утрачено; первый лист начинается с полуслова: «<запечат>лены печатью вольномыслия». В академическом издании Пушкина, в томе XII, вышедшем в 1949 г., он датировался 1826 г. («не ранее июня и не позднее декабря (?)») (XII, 471). Этой даты придерживался и Б. В. Томашевский в статье об эпиграммах Пушкина. Напомним читателю, что именно в этом отрывке Пушкин рассказывал о полемике с Карамзиным «молодых якобинцев» — М. Ф. Орлова, Н. М. Муравьева и других, им не названных, и в конце упоминал о приписанной ему одной из лучших русских эпиграмм. Источниковедческое качество этого документа резко меняется в зависимости от того, когда он написан: по свежим следам событий или после декабрьского восстания и смерти Карамзина. Академическое издание и Томашевский придерживались второй точки зрения.

В 1955 г. И. Л. Фейнберг выступил с развернутым обоснованием первой. В своей книге «Незавершенные работы Пушкина» (позднее многократно переиздававшейся) он задался целью реконструировать насколько возможно утраченный корпус пушкинских автобиографических записок. Согласно позднейшим воспоминаниям Пушкина, поэт начал их в 1821 г. и уничтожил после восстания 14 декабря, чтобы не повредить упомянутым в них лицам (XII, 310). Это свидетельство Фейнберг с полным основанием подверг сомнению, обнаружив в рукописях Пушкина явные признаки существования записок еще в ноябре 1826 г., когда Пушкину уже не

приходилось опасаться обыска и ареста бумаг: так, в записку «О народном воспитании» он собирался перенести из них рассуждения о патриархальном воспитании, о царствовании Александра I и пр. Что-то, таким образом, было сохранено, что-то уничтожено — может быть, та беловая тетрадь, в которую, как явствует из писем Пушкина к брату, он переписывал свою автобиографию в Михайловском в 1824—1825 гг.

В это построение очень хорошо, на первый взгляд, укладывалось материальное свидетельство: два листа записок о Карамзине, начинающихся с полуслова, на бумаге 1823 г., явно вырванные из несохранившейся тетради. Фейнберг был абсолютно убежден, что они «являются бесспорно сохраненными при сожжении, а не вновь написанными после смерти Карамзина страницами „Записок“» Пушкина<sup>38</sup>, и соответственно датировал текст 1821—1825 гг. После смерти Карамзина Пушкин вырвал их из тетради и собирался послать «листы» Вяземскому, а позднее напечатал в «Северных цветах на 1828 год». Это рассуждение было принято последующими исследователями: в «Справочном томе» академического издания была дана поправка: воспоминания должны быть датированы 1821—1825 гг. (XVII, 63).

При всем внешнем правдоподобии концепции И. Л. Фейнберга в ней уязвим самый главный пункт. В дошедшей до нас редакции мемуары Пушкина могли быть написаны только после смерти Карамзина. Их концовка: «Мне приписали одну из лучших русских эпиграмм — это не лучшая черта моей жизни» — есть прямое резюме эпистолярного спора с Вяземским в июньских-июльских письмах 1826 г., с лексико-фразеологическими переключками, по существу, их парафраза. Этим решается вопрос о начальной дате. Пытаясь обосновать более раннюю дату текста, И. Л. Фейнберг обратился к анализу содержания, но по какой-то странной аберрации рассмотрел его не в контексте биографии и творчества Пушкина 1821—1825 гг., а в последекабрьской ситуации, в которой оно осмысливается совершенно естественно. Анализ подтвердил прямо противоположный вывод: мемуары писались (или перерабатывались для печати) никак не ранее второй половины 1826 г. Наблюдения последующих исследователей (Б. П. Городецкого, Б. С. Мейлаха) только укрепили этот вывод, — и от него же отправлялся автор этих строк в упоминавшейся работе о Пушкине и Карамзине<sup>39</sup>.

В последние годы, однако, такое представление о хронологии и сущности мемуаров было оспорено Я. Л. Левкович, которая вернулась к гипотезе И. Л. Фейнберга, несколько изменив датировку: «не ранее сентября 1824 г. и не позднее середины июля 1826 г., когда



Пушкин начал уничтожать свои записки». «Эти листы, — пишет исследовательница, — несомненно вырваны Пушкиным из тетради с Записками — все остальное было сожжено, когда он „чистил“ свой архив после декабрьского восстания. Предположение В. Э. Вацууро, что фрагмент о Карамзине „не был механически извлечен из старой рукописи, а представляет собой заново написанный текст, явно рассчитанный на использование в печати“, представляется нам неубедительным. Полемику с ним см.: *Левкович Я. Л. Автобиографическая проза и письма Пушкина. Л., 1988. С. 83—89*»<sup>40</sup>.

При таком понимании остаются нерешенными вопросы, относящиеся собственно к гипотезе И. Л. Фейнберга. Если мемуары написаны до июня 1826 г., то как Пушкин мог предвидеть и предвосхитить в деталях свою последующую переписку с Вяземским? И второе: как соотносится полемика с «молодыми якобинцами» с умонастроениями и замыслами «преддекабрьского» Пушкина? Дата «не ранее ноября 1824 г. и не позднее июля 1826 г.» допускает, что мемуары могли быть написаны до 14 декабря 1825 г. В этом случае нам нужно найти им место в общей картине эволюции пушкинского мировоззрения. Переоценка полемики вокруг «Истории государства Российского» и собственного участия в ней, произведенная в 1824—1825 гг., — факт чрезвычайно существенный, многое меняющий в наших представлениях о Пушкине. Между тем он обосновывается существованием двух листов из неизвестной тетради, написанных в неизвестное время и с неизвестными целями, и так называемыми «признаниями» Пушкина, противоречащими несомненно установленным фактам, извлекаемым из собственных пушкинских рукописей. Содержательной стороны мемуаров Я. Л. Левкович почти не касается, — между тем вне их учета датировка невозможна.

Как мы уже сказали, вопросы эти адресуются к первоначальной гипотезе, которой последовала Я. Л. Левкович. Но новейшая ее модификация содержит и дополнительные, уже внутренние противоречия. Остается неясным, что именно датируется: текст или время существования тетради с его беловым автографом? Аргументация исследовательницы склоняет к последнему выводу; приведенная нами формулировка — к первому. Значит ли это, что Пушкин продолжал работу над записками вплоть до июля 1826 г., когда начал их уничтожать? И. Л. Фейнберг был более последователен: он считал, что работа была окончена или прервана в конце 1825 г. и осталась тетрадь, которую Пушкин был волен сохранить или уничтожить, смотря по обстоятельствам. Поэтому он мог настаивать на том, что отрывок о Карамзине был написан еще до его смерти. Но нельзя

одновременно поддерживать это убеждение и допускать в качестве возможной даты «июль 1826 г.», прекрасно зная, что Карамзин скончался 22 мая. И уж, конечно, совершенно невозможно допускать на равных правах альтернативную дату «1824—1825» и «1826 г.»: сама Я. Л. Левкович неоднократно писала о том, как 14 декабря 1825 г. резко изменило всю общественную ситуацию в России и как это сказалось на творчестве и в особенности на социально-политических декларациях Пушкина.

Оговоримся сразу же: предметом наших возражений являются несколько строк комментария к фрагменту о Карамзине в обширном и фундаментальном издании дневников и автобиографической прозы Пушкина, подготовленном Я. Л. Левкович. В работе такого объема и сложности неизбежны неточности и даже недосмотры, и на них не нужно было бы останавливаться специально, если бы за ними не стояла устойчивая и авторитетная традиция, а за датами не открывалась перспектива, ведущая в самые глубины пушкинского социального сознания. Углубленное научное исследование способно порождать свои мифы, — и одним из них является внешне очень правдоподобная легенда о двух листках из тетради 1824—1826 гг., без всяких изменений функционировавших вплоть до момента печатания, — типичный артефакт, требующий полного пересмотра. Попытка утвердить его в первоначальном или модифицированном виде наталкивается и будет наталкиваться на сопротивление реального материала, ставящего перед новыми умозаключениями новые и все более трудноразрешимые вопросы.

Они разрешаются возвращением к старой дате: отрывок Пушкин о Карамзине в дошедшей до нас редакции написан не ранее середины июля 1826 г., вероятнее всего, с использованием старого материала записок. Конечная дата его неопределенна: это может быть 1826 или даже 1827 г., когда Пушкин принял окончательное решение печатать его в «Северных цветах».

Мы можем вернуться теперь к прерванному исследованию эпиграммы Пушкина на Карамзина.

О времени и обстоятельствах ее создания существует три глухих свидетельства. Одно — в известном нам письме А. Тургенева Вяземскому от 4 мая 1825 г.: эпиграммы написаны «за пять или шесть лет перед сим, если не ранее»<sup>41</sup>, то есть в 1818—1820 гг. Второе — признание самого Пушкина, что эпиграмма написана тогда, когда Карамзин «отстранил» его от себя, «глубоко оскорбив» «честолюбие» поэта и «сердечную к нему приверженность» (XIII, 285). Это свидетельство, однако, как увидим далее, требует критического к себе отношения. Наконец, третье упоминание, содержащееся в воспоми-

нениях о Карамзине, о которых только что шла речь: «Некоторые остряки за ужином переложили первые главы Тита Ливия слогом Карамзина. Римляне времен Тарквиния, не понимающие *спасительной пользы самодержавия*, и Брут, осуждающий на смерть своих сынов, *ибо редко основатели республик славятся нежной чувствительностью*, конечно, были очень смешны. Мне приписали одну из лучших русских эпиграмм; это не лучшая черта моей жизни» (XII, 306).

К этой мемуарной записи стоит присмотреться внимательнее. Нам приходилось уже указывать, что она прямо опирается на текст Карамзина: «Редко основатели монархий славятся нежною чувствительностью»<sup>42</sup>, находящийся в VI томе «Истории», посвященном царствованию Ивана III, Именно этот том содержал развернутую концепцию самодержавного правления как оптимального для России и обеспечившего ее «независимость и величие». «Иоанн III, — писал Карамзин, — принадлежит к числу весьма немногих государей, избираемых Провидением решить надолго судьбу народов: он есть герой не только Российской, но и всемирной истории». Это последнее утверждение носило не риторический, а концептуальный характер: Карамзин включал Ивана III в число создателей новой государственности, «которая возникала в целой Европе на развалинах системы феодальной или поместной»<sup>43</sup>.

Шестой том «Истории» вызвал к себе двойственное отношение «молодых якобинцев». С. И. Тургенев, отмечая «прекрасный рассказ», сожалел, однако, что «великое дело», совершенное Карамзиным, вряд ли «подвигнет <...> Россию вперед»; в свою дневниковую запись он включает размышление (потом зачеркнутое): «Но в борьбе самодержавия с свободой где люди, примеру коих мы должны следовать? Я могу верить, что Риму, в тогдашнем его положении, нужен был король Ю. Кесарь; однако могу восхищаться Брутом»<sup>44</sup>.

Сходным образом читает историю Иоанна и Н. И. Тургенев. 15 апреля 1818 г. он записывает в дневнике, что «приятно, в особенности с начала, видеть успехи единовластия», — но, встав, благодаря ему, «из своего уничижения», Россия оказалась отмеченной «знаками рабства и деспотизма». «Я вижу в царствовании Иоанна счастливую эпоху для независимости и внешнего величия России, благодетельную даже для России, по причине уничтожения уделов; с благоговением благодарю его как государя, но не люблю его как человека, не люблю как русского, так, как я люблю Мономаха. Россия достала свою независимость, но сыны ее утратили личную свободу надолго, надолго, может быть, навсегда. История ее с сего времени принимает вид строгих анналов самодержавного пра-

вительства <...>. История россиян для нас исчезает. Прежде мы ее имели, хотя и несчастную, теперь не имеем: вольность народа послужила основанием, на котором самодержавие воздвигло Колосс Российский!»<sup>45</sup>

Хорошо известно, что рассуждения такого рода составляют идейный контекст пушкинскому рассказу о критике будущими декабристами «Истории» Карамзина. Но нам здесь важна общность деталей. В записи Тургенева, вероятно, отразились те же самые страницы карамзинского повествования, которые послужили предметом пародии, процитированной Пушкиным, — заключительные главы VI тома. «Иоанн как человек не имел любезных свойств ни Мономаха, ни Донского, но стоит как государь на вышней степени величия»<sup>46</sup>. С другой стороны, пародия (очень вероятно прямое участие в ней Пушкина<sup>47</sup>) не только в приведенной цитате, но и в целом ближайшим образом соотносится с полемикой вокруг шестого тома. «Римляне времен Тарквиния», не понимающие «спасительной пользы самодержавия», равно как и Брут, — республиканцы, восстающие против единоличной власти — это римские аналогии центральным главам тома, в первую очередь первой и третьей, где речь идет о покорении Новгорода. Тема эта долго будет занимать Пушкина — поэта и историка, вплоть до статьи «О народной драме...» (1830), где он даст общий абрис фигуры Иоанна III.

\* \* \*

То обстоятельство, что об эпитафии «В его „Истории“ изящность, простота...» Пушкин упомянул именно в обрисованном выше контексте, представляется не случайным.

«Необходимость самовластья», доказываемая беспристрастным повествованием, — очень точно резюмированное восприятие шестого тома обоими братьями Тургеневыми. «Изящность, простота» — второй лейтмотив отзывов. «Прекрасный рассказ», «в последних томах, более замечательных, чем первые, хронологический порядок не скучен», — записывал С. Тургенев<sup>48</sup>. «...Н. М. Карамзин, ревнуя к отечественной славе, посвятил 12 лет постоянным, утомительным изысканиям и привел сказания простодушных летописцев наших в ясную и стройную систему. <...> До сих пор однако ж никто не принял на себя лестной обязанности изъявить историку общую благодарность. Никто не обзирал со вниманием великость труда его, красоты, соразмерности и правильности частей, никто не воздал писателю хвалы, достойной его...»<sup>49</sup> Эти слова, которыми начинается критическая статья Н. М. Муравьева «Мысли об „Истории го-

сударства Российского“ Н. М. Карамзина», законченная во второй половине 1818 г. и тогда же получившая распространение в списках, были прямо перефразированы Пушкиным в его воспоминаниях о Карамзине. Конечно, для оценки литературных достоинств «Истории» Пушкину не было нужды обращаться к авторитету Тургенева или Муравьева, — нам важно лишь отметить, что они были в 1818 г. особым предметом обсуждения.

«Прелести кнута» — эта формула эпиграммы обычно затрудняет интерпретаторов; она считается сатирическим преувеличением. Это не вполне верно. В цитированной выше дневниковой записи Н. Тургенева читаем: «До ужасов-то я еще не дочитал, а только инде кнут, да названия: Федька и т. п.»<sup>50</sup>. О «торговой казни», т. е. наказании кнутом, говорится на той же самой странице шестого тома, где поместилась и фраза, пародированная Пушкиным. «Уже заметив строгость Иоаннову в наказаниях, прибавим, что самые знатные чиновники, светские и духовные, лишаемые сана за преступления, не освобождались от ужасной торговой казни: так (в 1491 году) всенародно секли кнутом Ухтомского князя, дворянина Хомутова и бывшего архимандрита Чудовского за подложную грамоту, сочиненную ими на землю умершего брата Иоаннова»<sup>51</sup>. Как в этом, так и в других случаях Карамзин рассматривает «торговую казнь» как «ужасный», конечно, но санкционированный «нравами» и уголовными нормами средневековья и в этом смысле «законный» способ наказания за совершенно реальные преступления: измену, мародерство и т. д.; «телесная казнь» предусматривалась уложением Иоанна за «душегубство, зажигательство, разбой, татьбу»<sup>52</sup>. Формула «необходимость палача», содержащаяся в другой редакции эпиграммы, поэтому даже не была гиперболой: со становлением единовластия Карамзин связывал и появление уголовного законодательства, которое, несмотря на свою суровость и даже жестокость, оказалось фактом исторического прогресса.

Эпиграмма «В его „Истории“ изящность, простота...» была реакцией на чтение шестого тома «Истории», на которую наслоились, может быть, и впечатления от последующих томов. Ее тесная текстуальная связь не только с трудом Карамзина (и более того, с совершенно конкретными его страницами), но и с проблематикой споров вокруг него заставляет думать, что она возникла именно в 1818 г., в период тесного общения Пушкина с первыми критиками Карамзина. Она была «остра и ничуть не обидна», потому что в ней ясно ощущался травестийно-пародийный характер, заостряющий и гиперболизирующий то, что реально содержалось в тексте, достоинств которого она не отрицала.

Близость содержания эпиграммы к дневниковым записям Н. И. Тургенева заново ставит вопрос и о среде ее возникновения. В работе о Пушкине и Карамзине мы искали ее в театрально-литературных кругах «веселых остряков» «Зеленой лампы», в кружке Катенина, где создавались пародии на карамзинскую «чувствительность». Такой генезис сейчас кажется нам сомнительным. Эпиграмма уходит своими корнями в ту среду, откуда вышла «Вольность» и позднее «Деревня», — в среду с четко и жестко структурированной системой социально-политических идей, предопределяющих угол зрения на события литературной и общественной жизни. Здесь тот же тип аналитизма, какой был в «Вольности» и который был в высшей степени свойствен мышлению Николая Тургенева. Это была основная интеллектуальная среда послелицейского Пушкина — и, может быть, не случайно обе дошедшие до нас политические эпиграммы на Карамзина носят на себе ее отпечаток. По какой-то странной, не всегда улавливаемой ассоциации имя Николая Тургенева всплывает каждый раз, когда в пушкинских письмах заходит речь о воспоминаниях о Карамзине; даже в записке «О народном воспитании» два этих имени как бы соседствуют. Если это так, тогда становится понятным, почему Александр Тургенев так быстро сменил гнев на милость, узнав, когда именно была написана эпиграмма Пушкина, и более того, записал ее своей рукой: он почувствовал в ней влияние атмосферы младшего тургеневского кружка.

Но в этом случае признание Пушкина в письме к Вяземскому, что эпиграмма была написана им под впечатлением глубокой личной обиды, следует поставить под сомнение.

Н. Я. Эйдельман, подробно проанализировавший все дошедшие до нас свидетельства о взаимоотношениях Пушкина с Карамзиным в 1818—1820 гг., показал с полной убедительностью, что до октября 1818 г. о каком-либо разрыве говорить не приходится; следующие же полтора года он предпочитает считать временем «отдаления», вызванного политическими разногласиями. Мы могли бы добавить к наблюдениям исследователя, что существующие источники не дают нам полной картины — так, в письмах самого Карамзина имя Пушкина появляется исключительно редко даже в период тесного общения, — и что из периода их общения нужно вычесть время, когда оно было невозможно по внешним причинам: болезнь Пушкина в феврале—марте и в июне—июле 1819 г. (тогда-то Карамзин и сообщает Дмитриеву, что «Пушкин спасен музами», — в чрезвычайно сдержанных и скудных на личную информацию письмах это уведомление читается в ряду семейных событий); отъезд Пушкина в Михайловское сразу после выздоровления в июле 1819 г.

и т. д. Кстати, тот факт, что, приехав из Михайловского, Пушкин сразу же отправляется в Царское Село к Карамзиным, Жуковскому и Тургеневу, также говорит скорее о внутренней необходимости общения, — хотя, как справедливо замечает Н. Я. Эйдельман, он есть и свидетельство нового типа отношений: краткий визит, «стремление скорее исчезнуть»<sup>53</sup>. Здесь нет возможности и даже необходимости проследивать заново историю последующих разногласий, заметим только, что позднее раздраженное письмо Карамзина Дмитриеву («...я уже давно, истощив все способы образумить эту беспутную голову, предал несчастного Року и Немезиде, однако ж из жалости к таланту замолвил слово, взяв с него обещание уняться» (19 апреля 1820 г.)<sup>54</sup>) говорит об исподволь нараставшем взаимном охлаждении, — и оно полностью корреспондирует с сообщениями в письмах А. Тургенева, который бы, конечно, сообщил Вяземскому о резком разрыве Карамзина с Пушкиным. Версия конфликта, оскорбившего Пушкина, поданная в письме Вяземскому нарочито завуалированно и даже двусмысленно (ее можно понять и как «отдаление», и как «ссору»), была таким же дипломатическим объяснением, каким в воспоминаниях о Карамзине было полупризнание: «мне приписали одну из лучших русских эпиграмм — это не лучшая черта моей жизни». Добавим к этому, что прямые ассоциации с конкретными страницами VI тома «Истории», которые обнаруживаются в эпиграмме, становятся менее вероятными по мере того, как исчезают первые впечатления от чтения, — да и ситуация 1819 г. заставила Пушкина обращаться к политическим темам более свежим и актуальным, нежели те, которые предоставлял ему том «Истории», посвященный царствованию Иоанна III.

## ПРИМЕЧАНИЯ

- <sup>1</sup> Пушкин А. С. Стихотворения лицейских лет. 1813—1817. СПб., 1994. С. 602—607; Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 20 т. СПб., 1999. Т. 1. С. 680—685.
- <sup>2</sup> См. перечень источников трех из них: Пушкин. Полн. собр. соч. М.; Л., 1949. Т. 2. С. 1025—1026 («Послушайте, я сказку вам начну...»); М.; Л., 1959. Т. 17. С. 16 («В его „Истории“ изящность, простота...», «На плаху истину влача...»); см. также: Фесенко Ю. П. Эпиграмма на Карамзина: (Опыт атрибуции) // Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1978. Т. 8. С. 293.
- <sup>3</sup> Пушкин. Соч. / Изд. П. В. Анненкова. СПб., 1857. Т. 7. С. 90—100 1-й паг.
- <sup>4</sup> ИРЛИ. Ф. 244, оп. 8, № 47.
- <sup>5</sup> Цявловский М. А. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. М., 1951. Т. 1 (1799—1826). С. 733—734; Сын отечества. 1816. Ч. 28, № 12. С. 239.

- <sup>6</sup> «М<илонову> М<арин> здравия желает» // Чтение в Беседе любителей русского слова. 1811. Кн. 3. С. 120. Ср.: Поэты-сатирики конца XVIII—начала XIX в. Л., 1959. С. 194.
- <sup>7</sup> См.: Фесенко Ю. П. Эпиграмма на Карамзина. С. 293.
- <sup>8</sup> Русская старина. 1872. № 5. С. 766; № 6. С. 296.
- <sup>9</sup> Вяземский П. А. Полн. собр. соч. СПб., 1882. Т. 7. С. 341.
- <sup>10</sup> Томашевский Б. В. Эпиграммы на Карамзина // Пушкин: Исследования и материалы. М.; Л., 1956. Т. 1. С. 215.
- <sup>11</sup> Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. 2-е изд. М., 1956. Т. 1. С. 243.
- <sup>12</sup> Фесенко Ю. П. Эпиграмма на Карамзина. С. 293. Ср.: Козлов В. П. «История государства Российского» Н. М. Карамзина в оценках современников. М., 1989. С. 49.
- <sup>13</sup> См. возражения, сделанные Ю. П. Фесенко П. В. Бекединым в его ст. «Несостоявшаяся атрибуция» (Русская литература. 1981. № 1. С. 197—199).
- <sup>14</sup> Погодин М. П. Николай Михайлович Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам современников: Материалы для биографии, с примечаниями и объяснениями. М., 1866. Ч. 2. С. 204.
- <sup>15</sup> Цявловский М. А. Статьи о Пушкине. М., 1962. С. 99—101.
- <sup>16</sup> Фесенко Ю. П. Эпиграмма на Карамзина. С. 294.
- <sup>17</sup> А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974. Т. 1. С. 45—46, 152.
- <sup>18</sup> Красный архив. 1936. № 6 (79). С. 185.
- <sup>19</sup> Грот К. Я. Пушкинский лицей (1811—1817). Бумаги 1-го курса, собранные акад. Я. К. Гротом. СПб., 1911. С. 65.
- <sup>20</sup> Цявловский М. А. Заметки о Пушкине // Пушкин и его современники. Л., 1930. Вып. 38—39. С. 214.
- <sup>21</sup> А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 152.
- <sup>22</sup> Остафьевский архив. СПб., 1899. Т. 3. С. 117, 121.
- <sup>23</sup> См.: Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И. Сквозь «умственные плотины». 2-е изд., доп. М., 1986. С. 29—113.
- <sup>24</sup> См. заметки А. В. Гулыги в «Литературной газете» (1988, 20 июля; 26 октября; в последнем номере — возражения Н. Я. Эйдельмана). Ср. также полемическую реплику А. В. Гулыге А. Лациса («Дикие утки» и не только // Вопросы литературы. 1988. № 12. С. 254—255).
- <sup>25</sup> Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу. М.; Л., 1936. С. 238—239.
- <sup>26</sup> Благонамеренный. 1823. № 9. С. 215. Перепечатана в «Опыте русской анфологии» М. А. Яковлева (СПб., 1828). Ср.: Турманский В. И. Стихотворения и письма. СПб., 1912. С. 341.
- <sup>27</sup> Лузянина Л. Н. Эпиграмма на Карамзина // Литературное наследие декабристов. Л., 1975. С. 260—265.
- <sup>28</sup> Стихотворения А. С. Пушкина, не вошедшие в последнее собрание его сочинений. Berlin, 1861. С. XI—XII.
- <sup>29</sup> Там же. С. 103.
- <sup>30</sup> Русская потаенная литература XIX столетия. Отдел первый. Стихотворения. Часть первая / С предисловием Н. Огарева. Лондон, 1861. С. 84.
- <sup>31</sup> ИРЛИ. Ф. 309, № 1191а, л. 10.
- <sup>32</sup> Старина и новизна. СПб., 1904. Кн. 8. С. 37.
- <sup>33</sup> Старина и новизна. СПб., 1909. Кн. 13. С. 3.
- <sup>34</sup> РГБ. Ф. 231/Г, карт. 16, № 13, л. 14 об.



- <sup>35</sup> *Погодин М. П.* Н. М. Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам современников. Ч. 2. С. 329 (курсив мой. — В. В.).
- <sup>36</sup> Там же. С. 330.
- <sup>37</sup> РГБ. Ф. 231/1, карт. 16, № 13, л. 15.
- <sup>38</sup> *Фейнберг И. Л.* Незавершенные работы Пушкина. 4-е изд. М., 1964. С. 295.
- <sup>39</sup> *Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И.* Сквозь «умственные плотины». С. 360—361.
- <sup>40</sup> *Пушкин А. С.* Дневники. Записки / Изд. подг. Я. Л. Левкович. СПб., 1995. С. 259.
- <sup>41</sup> Остафьевский архив. Т. 3. С. 121.
- <sup>42</sup> *Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И.* Сквозь «умственные плотины». С. 42. Ср.: *Карамзин Н. М.* История государства Российского. СПб., 1817. Т. 6. С. 329.
- <sup>43</sup> Там же. С. 321.
- <sup>44</sup> Запись от 18/30 июля 1818 г. Цит. по: *Ланда С. С.* «Дух революционных преобразований...» М., 1975. С. 62.
- <sup>45</sup> Архив братьев Тургеневых. Пг., 1921. Вып. 5 (Дневники и письма Н. И. Тургенева за 1816—1824 годы). С. 123.
- <sup>46</sup> *Карамзин Н. М.* История государства Российского. Т. 6. С. 330.
- <sup>47</sup> *Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И.* Сквозь «умственные плотины». С. 66.
- <sup>48</sup> *Ланда С. С.* «Дух революционных преобразований...» С. 62.
- <sup>49</sup> Лит. наследство. М., 1954. Т. 59. С. 582.
- <sup>50</sup> Архив братьев Тургеневых. Вып. 5. С. 123.
- <sup>51</sup> *Карамзин Н. М.* История государства Российского. Т. 6. С. 329—330.
- <sup>52</sup> Там же. С. 229—230, 327, 335—336.
- <sup>53</sup> *Эйдельман Н. Я.* Карамзин и Пушкин. Из истории взаимоотношений // Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1986. Т. 12. С. 292—293.
- <sup>54</sup> Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. СПб., 1866. С. 287.

Впервые (под заглавием: К истории эпиграмм Пушкина на Карамзина): Новое литературное обозрение. 1997. № 27. С. 112—131.

В. Э. ВАЦУРО

ПУШКИНСКАЯ  
ПОРА



АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ  
Санкт-Петербург  
2000